
Р. М. ЛАЗАРЧУК

К ПРОБЛЕМЕ ГЕНЕЗИСА ЖАНРА ДРУЖЕСКОГО ПОСЛАНИЯ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XVIII ВЕКА

Возникновение жанра дружеского послания в русской поэзии XVIII в. обычно ставится в зависимость от его античных и западноевропейских образцов --- посланий Горация, Буало, Вольтера, Шолье, Колардо, Дора, Грессе (см.: Г. А. Г у к о в с к и й. Русская литература XVIII века. М., Учпедгиз, 1939, стр. 483—484; Л. Г и н з б у р г. О лирике. М.-Л., «Советский писатель», 1964, стр. 210 и др.). Между тем уже теоретико-литературная мысль начала XIX в. улавливает глубокие внутренние связи частного письма и «литического» послания: «Теория сего рода стихотво-

рений ограничивается немногими правилами, которые все основываются на существе письма и на различии поэтического и прозаического слога» (А. Мерзляков. Краткое начертание теории изящной словесности в 2 частях. М., 1822, стр. 168). Горацианское послание, классицистическая эпистола, дружеское послание и частное письмо — все эти жанры в конце XVIII в. оказываются втянутыми в чрезвычайно сложные «взаимоотношения» и взаимодействия.

Письмо ускорило процесс распада старой классицистической эпistolы и приблизило рождение дружеского послания. Важнейший момент в этом решительном преображении жанра — основные конструктивные особенности письма: мозаичность структуры, раскованность и свобода, непреднамеренность переходов от одной темы к другой, перебои в развитии темы, недоговоренность, намеки и «домашняя» семантика, ставшие жанрообразующим принципом послания.

Старая эпистола держалась единством темы: литературной («Послание к Пизонам» Горация, «Опыт о стихотворстве» М. И. Муравьева), философской («Письмо о пользе стекла» М. В. Ломоносова, «Эпистола к Н. Р. Р.***» и об «Учении природы. К В. В. Ханыкову» М. И. Муравьева) и др. Дружеское послание разрушило то «одно главное содержание», «один общий предмет или целое» (А. Мерзляков), которым жила эпистола. Пестрота, «свобода» тематики, намеченные еще горацианским посланием, возводятся в принцип:

Я к вам хочу писать послание стихами.
Дам волю сердцу: пусть оно...
Что хочет говорит!

(«Послание к женщинам» Н. М. Карамзина)

Границы жанра раздвигаются. Он вбирает в себя описание и повествование, отклики на события дня и политические доктрины, размышления моральные и философские, портреты-характеристики и бытовую живопись («К Феопе» М. И. Муравьева, «Послание к женщинам» Н. М. Карамзина, «К другу моему А. И. К.» И. А. Крылова и др.).

Этот смелый сплав элементов лирики и сатиры, философской оды и стихотворения на случай, бытовых картин и шуток в духе «poésie fugitive» все ближе к мозаично-пестрой структуре дружеского письма. И так же, как в письме, в дружеском послании «описание, речь, пейзаж, портрет, публицистика <...> не выступают <...> как самостоятельный жанр» (Л. Гроссман).

Культура писем в эпоху Пушкина. — В кн.: «Письма женщины к Пушкину». М., «Современные проблемы», 1928, стр. 17). Они — пласты, прослойки, связанные и скрепленные в сложное жанровое образование личностью автора.

В горацанском послании и классической эпистоле поэт явится читателям как «учитель», осуществляющий священную гражданскую миссию «нравственного наставника», в дружеском послании он предстанет «...не в минуту высокого вдохновения, не как выразитель великих и вечных истин, а как бы по-домашнему, в задушевной дружеской беседе» (В. Б. С ан д о м и р с к а я. К. Н. Батюшков. — В кн.: «История русской поэзии в двух томах», т. 1. Л., «Наука», 1968, стр. 267). Эпистола — не сообщение (как обычное письмо), а морализация, поучение: «содержание ее всегда должно быть назидательно» (А. Мерзляков. Краткое начертание теории изящной словесности, стр. 153).

Дружеское послание ликвидировало тот разрыв между поэтом и читателем, который существовал в эпистоле. Не «учитель» и пассивный слушатель (эпистола игнорировала активную реакцию собеседника), а друзья. Не монолог-наставление, а непринужденный разговор, шуточный и интимный *causerie* обо всем и иногда «слегка», диалог, течение которого так трудно предугадать.

Вызванное к жизни культом сентиментальной дружбы, послание рождалось как продолжение дружеской беседы, максимально приближаясь тем самым к частному письму:

Мой друг! вступая в шумный свет
С любезной, искренней душою,
В весеннем цвете юных лет,
Ты хочешь с музою мою
В свободный час поговорить...
О счастья слово.

*(«Послание к Александру Алексеевичу Плещееву»
Н. М. Карамзина)*

О разговоре, о письме напоминало многое: начало, неожиданное и неподготовленное, как будто возобновляющее старый спор или недавнюю беседу:

Конечно так, — ты прав, мой друг!
Цвет счастья скоро увядает...

постоянные обращения, врезающиеся в ткань повествования; поток вопросов, предполагающих ответ и явно не рассчитанных на него:

И я, о друг мой, наслаждался..
Почто, почто, мой друг, не век
Обманом счастлив человек?..
Но что же нам, о друг любезный,
Осталось делать в жизни сей?..

(«Послание к Дмитриеву» Н. М. Карамзина)

мелкнувший каламбур или афоризм, параллели, попутные образы, внезапно всплывающие в разговоре:

Положим, что найти в вас слабости возможно;
Но разве от того луна уж не светла,
Что видим пятна в ней? Ах, нет! она мила..
Луна есть образ ваш...

(«Послание к женщинам» Н. М. Карамзина)

и даже момент случайно сопутствующего, моментального, индивидуально пережитого, пусть и несколько ослабленный, чем в письме.

С письмом связано и в высшей степени свойственное жанру ощущение адресата. Невольное «приспособление» к его психологическому облику, предчувствие его реакции, тревожное ожидание возражений, ориентация на его «точку зрения», включение в авторский монолог чужого слова — таковы формы «учета отсутствующего собеседника» (терминология М. Бахтина) в послании.

Нередко послание строится на игре чужим словом, на подхватах его смысловых значений, полемике с ним, скрытой и явной (именно такова функция «микроцитат»: «цвет жизни», «весна», «мечта», «братский хор» из «Стансов к Н. М. Карамзину» П. П. Дмитриева в «Послании к Дмитриеву» Карамзина), превращаясь тем самым в сложную амальгаму своего и чужого текста.

Наконец, из разговора, из дружеского письма пришло в послание бесконечное разнообразие интонаций (шутливых и восторженных, кокетливо-заигрывающих и доверительно-грустных, серьезных и прозаических), нарушающее единство эмоционального тона дидактической эпистолы.

Эпистола требовала «порядка», повествования связного и последовательного. Дружеское послание узаконивало «болтовню»,

свободный переход от одной темы к другой, иногда совершенно стремительный, непонятный и необъяснимый (от легкого эскизного портрета осемнадцатилетней вдовы — к дорожным описаниям и язвительным литературно-полемическим колкостям по адресу надоевших «путешествий» «осведомительного характера»:

...Резва, свободна, беспритворна,
Не знает, что такое грусть.
Но что сказать вам о дороге?
Как вихрь, летя на почтовых,
Мы очутились на пороге
Желанных теремов своих,
Не думавши о наблюденье
Земель, и жителей, и трав...

(«К Феоне» М. Н. Муравьева)

«перерывы» в развитии темы, отступления, нередко вырастающие в самостоятельные фрагменты, различные à parte.

Дружеское послание Муравьева заменило адресата эпистола, довольно широкого («Наставление хотящим быть писателями» Сумарокова), адресата, только названного, не ставшего собеседником, действующим лицом, образом («К княгине Дашковой. Письмо на случай открытия Академии Российской» Княгинина), конкретным человеком, дав ему индивидуальную характеристику. Этот поворот подготовлен не только поэзией сентиментализма, но и письмом, с его необыкновенно острым ощущением адресата. Муравьев превратил свое частное письмо в явление литературы, он же создал и первые образцы дружеского послания в России.

Послание Батюшкова, Жуковского, Вяземского расширило и углубило эту характеристику. Адресат стал персонажем, он получил не только лицо («нежный трубадур» Внелгорский: «О ты, владеющий гитарой трубадура, Эраты голосом и прелестью Амура» — «Послание графу Внелгорскому» Батюшкова), но и биографию («Рожденный мирты рвать и спящий на соломе, В отечестве поэт, кондитер в барском доме» — «Сибирякову» Вяземского. И. С. Сибиряков — крепостной поэт-самоучка — был кондитером в доме рязанского губернского предводителя дворянства Д. Н. Маслова) и даже «характер»:

Американец п цыган,
На свете правственно загадка,
Которого как лихорадка,
Мятежных склонностей дурман
Или страстей княщих схватка

Всегда из края мечет в край,
Из рая в ад, из ада в рай!
Которого душа есть пламень,
А ум — холодный эгоист;
Под бурей рока — твердый камень!
В волненьи страсти — легкий лист!

(«Толстому» П. А. Вяземского)

«Мои пенатами» Батюшков ввел в русскую поэзию новую поэтическую форму, чрезвычайно далекую от посланий классицизма <...> ничего подобного <...> в русской поэзии до Батюшкова не было», — пишет В. Б. Сандомирская. И все же было... Была целая традиция дружеского послания. Муравьев и Карамзин, Дмитриев и Крылов, Державин, Львов, А. В. Храповицкий — все они участвовали в подготовке довольно не «новой» в 1812 году поэтической формы, выросшей на обломках «длинной и скучной» (В. Г. Белинский) эпистолы XVIII в. и имеющей так много общего с дружеским письмом конца XVIII века.
